

Людмила  
УЛИЦКАЯ

Сквозная линия

18+



**Людмила Евгеньевна Улицкая**  
**Сквозная линия**  
Серия «Искренне ваша,  
Людмила Улицкая»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=122906](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122906)*

*Сквозная линия: [повесть] / Людмила Улицкая: АСТ; Москва; 2018*

*ISBN 978-5-17-109817-9*

### **Аннотация**

«Как определить ложь? Во все времена – от Адама и Евы до злодея Яго – ложь оказывается завязкой драмы, причиной страданий и смертей, катализатором истории. Истории, собранные в книге “Сквозная линия”, касаются этой огромной темы, но ложь, о которой здесь пойдет речь, взята в ее самой легкой и безобидной разновидности: ложь для украшения жизни.

Героини этой книги – бескорыстные лгуны. Эти выдумщицы и обманщицы всех возрастов – от девочки до старухи – мои друзья, близкие или отдаленные. Самое же в книге забавное, что эта книга о лжи – самая правдивая из всех написанных мною книг...»

**Содержит нецензурную брань!**

# Содержание

Диана	4
Брат Юрочка	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Людмила Улицкая

## Сквозная линия

### Диана

Ребенок был похож на ежика – игольной щеткой темных волос, любопытным вытянутым носом, узким к кончику, и забавными повадками существа самостоятельного, постоянно приносивающегося, и совершенной своей неприступностью для ласки, для прикосновения, не говоря уж – материнского поцелуя. Но и мамаша его, судя по всему, тоже была из ежиной породы – она его и не трогала, даже руки ему не протягивала на крутой тропинке, когда они поднимались от пляжа к дому. Так он и карабкался впереди нее, а она медленно шла сзади, давала ему возможность самому цепляться за пучки трав, подтягиваться, скользить вниз и снова подниматься напрямик к дому, минуя плавный поворот шоссе, по которому ходили все нормальные курортники. Ему еще не исполнилось и трех лет, но характер у него был такой отчетливый, такой независимый, что и мать иногда забывала, что он почти младенец, и обращалась с ним, как со взрослым мужчиной, рассчитывала на помощь и покровительство, потом спохватывалась и, посадив малыша на колени, подкидывала легонько, приговаривая: «Поехали за орехами... поеха-

ли за орехами», а он хохотал, проваливаясь между коленями в натянувшийся подол материнской юбки...

– Сашка – пташка! – поддразнивала его мать.

– Женька – пенька! – радостно отзывался он.

Так целую неделю они жили вдвоем в большом доме, занимая самую маленькую из комнат, а все другие, ожидая жильцов, были чисто вымыты, приготовлены к заселению. Была середина мая, сезон только начинался, стояла холодноватая, не купальная пора, зато южная зелень не огрубела, не выцвела, а утра были такие ясные и чистые, что с первого дня, когда Женя случайно проснулась на рассвете, она не пропустила ни одного восхода солнца, ежедневного спектакля, о котором она прежде и не слыхивала. Жили они так прекрасно и мирно, что Женя усомнилась даже в медицинских диагнозах, которые были определены ее буйному и заводному ребенку детскими психиатрами. Он не скандалил, не закатывал истерик, пожалуй, его можно было бы даже назвать послушным, если бы Женя имела точное представление о том, что вообще означает «послушание»...

На второй неделе в обеденное время возле дома остановилось такси, и из него вывалилась целая прорва народу: сначала шофер, доставший из багажника странное железное приспособление неизвестного назначения, потом большая красивая женщина с львиной гривой рыжих волос, потом кособокая старушка, которую немедленно воткнули в снаряд, образовавшийся из плоского приспособления, потом мальчик

постарше Сашки и наконец сама хозяйка дома Дора Суреновна, нарядно покрашенная и суетливая более, чем обычно...

Дом был расположен на склоне холма, стоял криво, наперекосяк всему, шоссейная дорога проходила под ним, другая, земляная, разбитая, выше усадьбы, а сбоку еще прибивалась тропка – кратчайший путь к морю... Зато сам хозяйский участок был чудно устроен – в центре всего стоял большой стол, плодовые деревья обступали его со всех сторон, а два дома, один против другого, душ, уборная, сарайчик закруглялись вокруг, как театральная декорация. Женя с Сашей сидели с краю стола, ели макароны и, как только вся компания вывалилась в закругленный дворик, лишились аппетита.

– Привет, привет! – Рыжая бросила чемодан и сумку и плюхнулась на скамью. – Никогда вас здесь не видела!

И сразу все расставилось по местам: рыжая здесь была своя, основная, а Женя с Сашкой новенькие, второстепенные.

– А мы здесь в первый раз, – как будто извинилась Женя.

– Все бывает в первый раз, – философски ответила рыжая и прошла в большую комнату с террасой, на которую Женя попервоначально нацелилась, но получила решительный хозяйский отказ.

Шофер сволок вниз старушку в ее клеточке, старушка слабо что-то верещала, как показалось Жене, на иностранном

языке.

Саша встал из-за стола и с видом важным и независимым удалился. Женя собрала тарелки, отнесла на кухню: знакомство все равно было неизбежным. Эта рыжая своим появлением совершенно изменила весь пейзаж лета...

Беленький, с крутым курносом и невиданно узким черепом мальчик обратился к рыжей уже явственно по-английски, но слов Женя не разобрала. Зато рыжая мамаша очень отчетливо отрезала: «Шат ап, Доналд».

Женя до того дня видом не видывала англичан. А рыжая с ее семейством оказались самыми что ни на есть англичанами.

Настоящее знакомство состоялось поздним, по южным понятиям, вечером, когда дети были уложены, вечерняя посуда вымыта и Женя, накинув платок на настольную лампу, чтоб не светило на спящего Сашку, читала «Анну Каренину», чтобы сопоставить некоторые события своей распадающейся лично-семейной жизни и настоящую драму настоящей женщины – с завитками на белой шее, женственными плечами, оборками на пеньюаре и с рукодельной красной сумочкой в руках...

Женя не решилась бы сунуться на освещенную террасу к новой соседке, но та сама стукнула крепкими полированными ногтями ей в окно, и Женя вышла, уже в пижаме и в свитере поверх – по ночам было холодно.

– Проезжая мимо «Партийного гастронома», что я сдела-

ла? – строго спросила рыжая. Женя туповато молчала, ничего остроумного ей в голову не приходило. – Купила две бутылки «Крымского», вот что я сделала. Может, ты не любишь портвейна, может, ты предпочитаешь херес? Пошли!

И Женя, отложив Анну Аркадьевну, пошла, как завороченная, за этой роскошной бабой, укутанной в какое-то не то пончо, не то плед, лохматое, клетчатое, зелено-красное...

На терраске все было вверх дном. Чемодан и сумка были распакованы, и удивительно было, сколько же в них поместилось веселого разноцветного тряпья – все три стула, и раскладушка, и половина стола были завалены. В складном кресле сидела матушка, с белесым кривоватым личиком и забытой на нем искательной улыбкой.

Рыжая, не выпуская изо рта сигареты, разлила портвейн в три стакана, в последний поменьше – и сунула его в руки матери.

– Матушку можно звать Сюзен Яковлевна, а можно и никак не звать. Она по-русски ни слова не понимает, до инсульта немного знала, а после инсульта все забыла. И английский. Помнит только голландский. Детский язык. Она у нас чистый ангел, но абсолютно без мозгов. Пей, гренни Сузи, пей...

Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе руки. С интересом.

Впечатление было такое, что не все на свете она забыла... Первый вечер был посвящен семейной биографии рыжей

– она была ослепительна. Безмозглый ангел голландского происхождения имел коммунистическую юность, соединил свою судьбу с подданным Объединенного Королевства ирландской крови, офицером Британской армии и советским шпионом, пойманным, приговоренным к смертной казни, обменным на нечто равноценное и вывезенным на родину мирового пролетариата...

Женя слушала, развесив уши, и не заметила, как напилась. Старушка в кресле тихо похрапывала, потом пустила деликатную струйку.

Айрин Лири – каково имя! – всплеснула руками:

– Дала себе расслабиться, забыла посадить на горшок. Ну теперь уже все равно...

И она еще час дорассказывала завидную семейную историю, и Женя все более пьянела, уже не от портвейна, который был выпит до последней капли, а от восхищения и восторга перед новой знакомой.

Разошлись они в третьем часу ночи, переодев и слегка помыв встrepенувшуюся ото сна и абсолютно ничего не понимающую Сузи.

Следующий день был хлопотным и шумным – утром Женя сварила завтрак, накормила всех овсянкой и увела обоих мальчишек гулять. Английский мальчик Доналд, родословная которого, несмотря на его российское рождение, тоже была восхитительна – его дедушка по отцовской линии был совсем уж знаменитым, но тоже провалившимся шпионом,

обменянным на нечто еще более ценное, чем дедушка по материнской линии, – оказался на редкость славным: приветливым, хорошо воспитанным, и, что Женю к нему расположило не менее, чем к его рыжей матери, он сразу же отнесся к заводному и нервному Сашке великодушно и снисходительно, как старший к младшему. Собственно, он и был старшим, ему уже исполнилось пять. В нем сразу же открылось какое-то взрослое благородство: он немедленно отдал Саше затейливую машинку, показал, как у нее поднимается кузов, а когда они дотащились до киоска с водой, возле которого Сашка обычно начинал канючить и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвел рукой протянутый ему стакан и сказал:

– Вы пейте. Я потом.

Просто лорд Фаунтлерой. Когда Женя пришла домой, Айрин сидела за дворовым столом с хозяйкой, и по тому, как важная Дора пласталась перед новой жиличкой, видно было, что Айрин здесь высоко ценится. Всем был предложен хозяйский бараний суп, горячий и переперченный. Английский мальчик ел медленно и исключительно прилично. Перед Сашей стояла миска, и Женя готовилась, что ей сейчас придется потихоньку унимать Сашку, который в еде был строг: ел картофельное пюре с котлетами, макароны и овсянку со сгущенкой... И больше ничего. Никогда...

Сашка, однако, посмотрел на лорда Фаунтлероя и сунул ложку в суп... И впервые, кажется, в жизни съел еду не из

своего списка...

После обеда дети спали, а женщины все сидели за столом. Дора с Айрин вспоминали прошлогодний сезон, говорили весело и смешно о незнакомых людях, о каких-то давних курортных историях. Сузи сидела в кресле с улыбкой, столь же постоянной и неуместной, как и ее коричневая родинка между носом и ртом. Женя посидела немного, выпила чашку хорошего Дориного кофе и пошла к себе – легла рядом с Сашкой и взялась было за «Анну Каренину». Но посреди дня чтение было почти неприлично – она отложила лохматый том в сторону и задремала, сквозь сон представляя себе, что вечером будет сидеть с Айрин на ее терраске вдвоем и без Доры... И пить портвейн. И как будет славно... И совсем сверху, как с облака, она вдруг поняла, что уже второй день, с самого приезда рыжей Айрин, не вспомнила ни разу о гнусной гадости жизни, которую можно еще назвать катастрофой – такой корявый черно-коричневый краб, который сосет ее изнутри... да ну его к черту, не так уж и интересна вся эта любовь- морковь... И опустилась до самого дна сна...

А когда проснулась, то все еще была немного на облаке, потому что откуда-то взялась веселость, которой давно уже не было, и она подняла Сашку, натянула на него штаны и сандалии, и они пошли в город, где была карусель, любезная Сашке, а напротив карусели – «Партийный гастроном».

«А почему “партийный” – надо спросить у Айрин», – подумала Женя. Две бутылки портвейна. С вином в тот год бы-

ло отлично: на него еще не напал Горбачев, и крымские вина производились совхозами, колхозами и отдельными дедками – сухие, полусухие, крепленые, массандровские и новосветские, дармовые и драгоценные... А вот сахара, масла и молока не было... Но об этом как раз забыли как о несущественном. Потому что жизнь была сама по себе очень существенна.

Вечером на терраске снова пили портвейн. Только матушку отвели спать пораньше. Она не возражала. Она вообще только кивала, благодарила на неизвестном языке и улыбалась. Лишь изредка вскрикивала «Айрин!», а когда дочь к ней подходила, смущенно улыбалась, потому что уже успела забыть, зачем ее звала.

Айрин сидела, уперев локоть в стол, а щеку в ладонь. Стул был в правой. Игральные карты разбросаны были по всему столу – остатки сломанного пасьянса.

– Второй месяц не получается. Что-то у меня не сходится... Жень, а ты карты любишь?

– В каком смысле? В детстве с бабушкой в дурака на даче играла... – Женя удивилась вопросу.

– Может, так оно и лучше... А я люблю... И играю, и гадаю... Мне было семнадцать лет, мне одна гадалка предсказание сделала. Мне б его забыть... Но не забыла. И все идет как по писаному... как та сказала.

Айрин взяла несколько карт, погладила их цветастые рубашки и бросила на стол мастями кверху: сверху оказалась

девятка трэф.

– Я ее терпеть не могу, а она вечно привяжется... Пошла отсюда... Изжога от нее...

Женя подумала немного и переспросила:

– То есть ты всегда знаешь, как все кончится? Не скучно?

Айрин вздернула желтую бровь:

– Скучно? Ну это ты не понимаешь ничего... Ой, не скучно... Да если тебе рассказать...

Айрин разлила остатки первой бутылки по стаканам. Отпила, отодвинула стакан.

– Ты поняла уже, Женька, что я болтлива? Все про себя рассказываю, никаких секретов не держу. И чужих тоже, имей в виду, – предупреждаю на всякий случай. Но было одно, чего я никому не рассказывала. Тебе – первой. Не знаю, почему вдруг мне захотелось...

Она усмехнулась, передернула плечом:

– И самой удивительно.

Женя тоже уперлась локтем в стол и положила щеку на ладонь. Они сидели насупротив, с вдумчиво-абстрактным выражением уставившись друг в друга, как в зеркало... Жене тоже удивительно было, что Айрин выбрала вдруг ее для откровений. И льстило.

– Мать моя была красавица – вылитая Дина Дурбин, если тебе это что-нибудь говорит. И всегда была идиотка. Вернее, не идиотка, а слабоумная. Я ее очень люблю. Но в голове у нее всегда была каша: с одной стороны, она комму-

нистка, с другой – лютеранка, с третьей – любительница маркиза де Сада. Она всегда была готова отдать все, что у нее есть, немедленно, и могла устроить отцу истерику, потому что ей вдруг нужен был срочно тот купальник, который она купила в тридцатом году на бульваре Сен-Мишель, на том углу, что ближе к Люксембургскому саду... Когда отец умер, мне было шестнадцать лет, и мы остались вдвоем. Она – надо отцу отдать должное, не понимаю, как это удалось при их немислимо тяжелой жизни, – отличалась полной, совершенно победительной беспомощностью: работать не могла ни дня, потому что при своих родных двух языках, английском и голландском, она не смогла выучить русский. За сорок лет! Отец работал на вещании, ее бы взяли. Но даже там, где в принципе русский не нужен, надо было все же сказать «Здравствуйте!» или прочесть надпись «Тихо. Идет запись». Она не могла. Отец умер, и я сразу же пошла работать, образования у меня никакого, но я классная машинистка, печатаю на трех языках...

Так вот. Про предсказание. Была у меня старая подруга, англичанка, с двадцатых годов в России застрявшая. Есть такая небольшая колония русских англичан. Я, конечно, всех их знаю. Либо коммунисты, либо оставшиеся в России по каким-то причинам технари, чуть не с нэповских времен. Вот и эта Анна Корк, она по любви застряла. Любовь расстреляли, а ей повезло, выжила. Отсидела, конечно. Ногу потеряла. Из дому она почти не выходила. Давала уроки английского.

Гадала. За гаданье денег не брала. Но подарки – брала. Она меня кое-чему научила, да и я ей полезна была...

Однажды, когда я у нее торчала, пришла к ней красавица, что-то вроде генеральской или партийной жены: то ли родить не могла, то ли советовалась, брать ли ребенка на воспитание. И моя Анна говорит с ней в своей обычной манере, на невесть каком языке, с сильнейшим акцентом. А русский она знала, поверь, не хуже нас с тобой – восемь лет лагерей. Но, когда считала нужным, такой напускала акцент... Материлась же она – какой там Художественный театр! А тут она этой красавице – ни да ни нет, извилисто и многозначительно, как и полагается гадалке, – то ли ребенок будет, то ли нет, но лучше, чтобы его не было...

А потом вдруг обернулась ко мне и говорит: «А ты с пятого начинаешь, запомни... С пятого...»

Чего я с пятого начинаю? Чутье какая. Я сразу же и забыла. Но в свой час вспомнила...

Айрин опять утонула подбородком в ладони. Задумалась. Глаза ее слегка отливали животным светом, как у кошки... Уют, нежность и тонкая тревога...

Были у Жени подруги, с которыми она вместе училась, вела разговоры о делах важных и содержательных, об искусстве и литературе или о смысле жизни. Она защищала диплом о русских поэтах-модернистах, и диссертационная тема ее была по тем временам очень изысканная – о поэтических переключках поэтов модернистических течений и сим-

волистах 10-х годов. Жене повезло необыкновенно – руководителем диплома у нее была преклонных годов профессорша, которая в этой самой русской литературе распорядилась, как у себя на кухне. Эта боготворимая студентами и, главным образом, студентками профессорша Анна Вениаминовна знала всех этих поэтов не понаслышке, а лично: почти дружила с Ахматовой, чай пила с Маяковским и Лилей Брик, слушала чтения Мандельштама и помнила живого Кузмина... Около Анны Вениаминовны Женя и сама обзавелась значительными знакомыми, вращалась среди гуманитарных интеллектуалов и претендовала на то, чтобы со временем и самой сделаться кем-нибудь значительным. И, если честно говорить, – такой пошлой болтовни, как в этот вечер, Женя сроду не слыхала. Странность же заключалась в том, что в пошлом этом разговоре содержалось нечто важное, и содержательное, и очень жизненное. Может, даже и пресловутый ее, жизни, смысл?

Радуюсь сладкому портвейному опьянению, тишине и законной тьме, в которой трепещущим пятном шевелился фонарный свет в листьях большого инжира, Женя еще и наслаждалась временным, как она догадывалась, освобождением от навязчивой нерешенности важных – важных ли? – своих жизненных задач...

Айрин смела со стола карты – часть упала на пол, часть приземлилась на стуле...

– Лежит Сузи на диване с книжкой с утра до вечера, сосет

карамель. Теперь я понимаю – она была в депрессии, но тогда я видела только, что она превращается в моего ребенка. Имей в виду, это все задолго до инсульта. С ложки я ее, конечно, не кормила, но, если я суп в тарелку не налью, могла три дня не есть... Я решила, что мне надо срочно завести ребенка, своего собственного, настоящего, потому что превращаться в мать собственной матери я совершенно не хотела. А так, может, она хоть бабушкой стала бы, коляску бы катала... Я наскоро вышла замуж, за первого попавшегося. Парень со двора. Красивый, совершеннейший дурень. Забеременела и девять месяцев ходила с пузом, как с ордемом. Говорят, токсикоз, самочувствие, давление... Что там еще у беременных? Вот у меня – ничего этого. Рожать иду прямо от пишущей машинки. Не успеваю допечатать, работу сдать. Ну, думаю, рожу по-быстрому и потом закончу, уже с ребеночком. Там оставалось на два дня работы... Оказалось не так. Обвитие пуповины. Ребенок мой погибает – акушерка молодая, врач распиздяйка. Проворонили моего ребеночка... Всего-то, что надо было, – простую бабку-повитуху... А мне восемнадцать лет, идиотке. Пальчик загни: погиб мой первенец, Дэвид, в память отца я его хотела назвать. Молоко из меня хлещет, слезы ручьями...

Пристальными, сузившимися глазами Айрин смотрела на Женю, как будто прикидывая, стоит ли продолжать...

– У Сашки было обвитие, – потрясенным тихим голосом сказала Женя. Она знала, что это очень опасно для ребен-

ка, но впервые видела мать, которая действительно потеряла ребенка из-за этой дурацкой петли, которая верно служила младенцу все девять месяцев, а потом вдруг задушила...

– Через два месяца я снова забеременела. Ты характера моего не знаешь: если мне чего надо, я из-под земли вырою. Снова хожу. Уже не такая веселенькая, то тошнит, то пучит, то немеет... Но ничего, бодрая. Муж мой, мудило огородное, работал автослесарем. Я же тебе говорю, за первого попавшегося замуж выскочила. Что заработает, то и пропьет. Внешность – Ален Делон один к одному, только роста хорошего. Я сижу старательно, колочу по машинке, прилично выколачиваю. На «барбарис» для Сузи хватает.

В первый раз я точно знала, что мальчик. А тут я девочку себе распланировала. Пузо растет, а у меня одна бабья радость: копейку заработаю – и в «Детский мир». Носочки... распашоночки... ползуночки... Все советское, тупое, грубое. А я росла дворовой девчонкой, на заборах висела... Родителей ведь сначала в город Волжск под чужой фамилией поселили. Я только в десять лет свое настоящее имя узнала. Родителей рассекретили, и мамина сестра прислала первую посылку. Там и кукла была. А я их терпеть не могла, я и девочкой не хотела быть. Ревела, когда меня в юбку заталкивали. А когда грудь начала расти, я чуть не повесилась. – Айрин расправила плечи, большая бабья грудь шевельнулась от шеи до пояса.

Женя смотрела на нее с тонкой завистью: у человека бы-

ла биография... Да и по Айрин видно было, что она знает о своей значительности.

– Девочка родилась красавицей – с первой минуты. Ничего новорожденного, никакой слизи, красноты, шершавости. Глаза синие, волосы черные, длинные. Это – от автослесаря. Черты лица – вылитая я. Мой нос, подбородок, овал лица...

Женя как будто в первый раз увидела Айрин: за яркой рыжестью не сразу было разобрать, что она красавица. Да, и овал лица, и нос, и подбородок... И даже зубы, у кого другого лошадиные, а у нее – английские: длинные, белые, чуть выпирают вперед, как раз столько, чтобы губы приподнимались как будто навстречу, ожидающе...

– Я на нее посмотрела и сразу увидела, что зовут ее Диана. И никак иначе. Она была маленькая, очень складная и с длинноногой женской фигурой. И с крутой попкой. Это была самая красивая девочка на свете. Нет, это не мое материнское воображение. Все над ней ахали. Автослесаря я выгнала на третий день, как из роддома выписалась. Он просто оскорблял мой глаз. Когда он первый раз взял ее на руки, мне сразу стало ясно: у Дианы должен быть другой отец. Дело не во мне. Я еще не была женщиной. С автослесарем не получилось, но я этого и не понимала. Он взял ее на руки, и я увидела, какой он жлоб. Это мне моя дочь продемонстрировала. Она была умна и спокойна. Я в жизни не встречала такой – не смейся! – женщины. Она отлично знала, как себя с кем вести, от кого чего ожидать. Можешь себе представить,

она относилась к Сузи снисходительно. Не плакала, если я оставляла ее с бабушкой. Понимала, что бессмысленно. Ей было месяца четыре, когда я начала читать ей книжки. Когда ей нравилось – говорила «да-да-да»... Не нравилось – «не-не-не». К полугоду она понимала все, буквально все, а к десяти месяцам начала говорить. Погулила месяц и сказала: «Мама, муха летит». И правда – муха...

Я очень долго ее кормила. Молоко не уходило, а она любила грудь. Прижмется, пососет, потом рукой по груди погладит и говорит: «Спасибо». А потом я заболела гриппом. Температура подскочила выше сорока – я вырубилась. Кормить не могу. Подруги набежали, Диану кормят кефиром, кашей, ей уже к годiku подходило. Она просится ко мне, а ее не пускают, чтоб не заразилась. Она кричала из маленькой комнаты: «Мама, я не понимаю!» Сузи тоже свалилась. И что за такая крепкая зараза выдалась, подружки мои все, одна за другой, тоже от меня подхватили. Не помню ничего.

Айрин загородила глаза руками, как будто от сильного света. Волосы почти закрыли ее лицо. Женя уже знала, что нечто ужасное сейчас произойдет, тогда произошло... Но все-таки немного надеялась...

– Потом встала, подхожу к Диане – она горит, – продолжала Айрин, и Женя заметила, как покраснели ноздри и бледные веки англичанки. – Вызвала врача. Ей сразу же стали колоть антибиотик. После двух уколов – у Дианы аллергическая реакция. Всю засыпало. Ну, моя дочь. Я ведь сама ал-

лергик. Прописывают ей тот же самый седуксен, что и мне. Только в двадцать раз дозировка меньше. А мне – все хуже. Температура сорок, временами как будто уплываю. Прихожу в себя – кефир Диане, кефир маме... Временами кто-то заходит, уходит. Скандалю с врачом, которая требует немедленной госпитализации. Какие-то подруги мелькают. Соседка. Помню, автослесарь приперся. Пьяный. Я его прогнала.

Встаю, как в полусне, Диану посажу на горшок, переодену, суну таблетку... Она, прелесть моя, от зеркала отворачивалась, говорила «не надо»... Ей сыпь на лице не нравилась.

Упаковки, Женя, были совершенно одинаковые, мой седуксен и ее. Я не знаю, сколько я ей дала седуксена. Тем более что жизнь-то шла не по часам. У меня – сорок, какие часы. Ни утра, ни вечера не разбирала. Но твердо помнила, что надо дать Диане лекарство... На дворе декабрь – тьма круглые сутки... Двадцать первого декабря, в самый зимний солнцеворот, встала я, подхожу к Диане, трогаю – холодная. Температура спала, думаю. А ночник горит. Я смотрю – личико белое-белое. Сыпи нет больше... Не стала будить, легла. Потом встаю опять, думаю, пора лекарство давать. И только тогда я поняла, что Диана моя прекрасная мертвым-мертва...

Женя увидела эту картинку – как в кино: в длинной белой рубашке Айрин, склонившаяся над детской кроваткой, и как она вынимает из кроватки в белой же рубашке девочку. Только лица девочки Женя не увидела, потому что оно было

загорожено этими рыжими сияющими волосами, которые и теперь живут, выются, блестят... а Дианы уже нет...

Плакать Женя не могла, потому что в сердце у нее что-то спеклось горьким комком, и слезы больше не шли.

– Хоронили мою девочку без меня. – Айрин посмотрела Жене в глаза таким прямым и безжалостным взглядом, и Женя подумала: «Господи, как я могу думать о всякой чепухе, когда в жизни вот такое происходит...» – У меня сделалось воспаление мозговых оболочек, три месяца я провалялась по больницам, потом меня учили заново ходить, ложку в руках держать. Живуча я, как кошка. – Айрин засмеялась горьким смехом.

Да, голос у Айрин был необыкновенный – один раз услышишь и никогда не забудешь: хриплый, мягкий, и казалось, что это голос певицы, которая себя сдерживает, потому что если запоеет, то все будут рыдать и плакать от такого голоса и рваться туда, куда этот сиренический звук повелит...

И Женю от этого предполагаемо-прекрасного пения провало, и она заплакала, и едкая горечь от этого рассказа стала выливаться из нее слезными струями. Айрин подсунула ей белый платок, кружевной, пахнувший духами, и Женя мгновенно измочила его.

– Сейчас ей шел бы шестнадцатый год. Я совершенно точно знаю, как бы она выглядела, как разговаривала, двигалась. Рост, фигура, голос – я все это знаю совершенно точно. Я знаю, какие люди ей нравились бы, кого бы она избегала. Что

она любит из еды. И чего терпеть не может.

Айрин сделала паузу, и Жене показалось, что она всматривается во тьму, как будто там, в углу, стоит девочка – тонкая, синеглазая и черноволосая, но совершенно невидимая...

– Больше всего на свете она любит рисовать, – все не спуская глаз со сгустившейся в углу тьмы, продолжала Айрин. – Уже с трех лет было видно, что ей назначено быть художником. Картины ее были совершенно безумными. К семи годам они более всего напоминали Чюрлениса. Потом рисунок стал крепче, хотя мистичность и нежность сохранялись...

«Безумие, – догадалась Женя. – Настоящее безумие. Потеряла ребенка и сошла с ума».

Но вслух не сказала. Айрин же засмеялась, встряхнула своей медной проволокой. Казалось, волосы ее зазвенели.

– Ну, если хочешь, безумие. Хотя есть рациональное объяснение любому безумию. Часть ее души осталась во мне. Иногда на меня находит что-то, и мне страшно хочется рисовать, и я рисую. То, что рисовала бы моя Диана. В Москве я покажу тебе целые папки Дианиных рисунков за все эти годы...

Портвейн давно закончился. Время перевалило за три, и они разошлись – к уже сказанному невозможно было добавить ни слова...

Наутро отправились на большую совместную прогулку. Дошли до почты, позвонили в Москву. Потом пообедали на на-

бережной, в чебуречной. Женя была уверена, что чебуречный притягательный запах коварно вовлечет их в какое-нибудь хрестоматийное желудочно-кишечное заболевание вроде дизентерии, но понадеялась, что Саша, верный своему пищевому минимализму, откажется от пахучих треугольных пирожков. Однако Саша сказал «да» и снова съел продукт не из своего священного списка... Это был уже второй случай...

Вечерние портвейные посиделки, по крайней мере в таком узком кругу, заканчивались: на завтра приезжали две подруги Айрин, одна из которых, Вера, была и Жене хорошо знакома – она-то и дала ей этот адрес на улице Приморской... И Жене заранее было немного жаль, что дружить вдвоем дальше уже не получится.

Последний вечер начался позднее обычного, потому что Сашка долго капризничал, не отпускал от себя Женю. Заснув, просыпался, ныл, снова засыпал, и Женя, прикорнув рядом с ним, задремала и, если бы Айрин не стукнула ей в окно уже в начале двенадцатого, так до утра бы и проспала в брюках и свитере...

И снова было у них две бутылки крымского портвейна, и законная тьма, даже и без фонаря на этот раз, потому что электричества в тот день не было, и две толстые белые свечи, привезенные из Москвы именно для такого случая, освещали террасу. Сузи и Доналд давно спали в комнате, а Айрин сидела на террасе в глубоком кресле, укутавшись в свою

красно-зеленую клетку и разметав карты перед собой.

– Это «Дорога на эшафот», старинный французский пасьянс, чаще раза в год он не получается. А сейчас я сидела, ждала тебя – и вот, сложился... В этом знак расположения к дому, времени, этому месту... Отчасти и к тебе. Хотя у тебя совсем другие покровители, от другой стихии...

Женя, имеющая к мистике смутное влечение, но несколько стыдившаяся такого атавизма, осмелела и задала предлагаемый вопрос:

– Какая это моя стихия?

– Да от автобусной остановки видно – вода. Водная твоя стихия. Стихов не пишешь? – деловито спросила Айрин.

– Когда-то писала. Но вообще-то у меня диплом по русской поэзии начала века был, – стыдливо призналась Женя.

– Я же вижу – Рыбы, натуры поэтические... Живут в воде.

Женя потрясенно молчала – по зодиаку она действительно принадлежала к Рыбам.

– В двадцать лет, Женя, я была матерью двух умерших детей, – без предисловия продолжила Айрин с того самого места, где остановилась вчера. – Еще два года у меня ушло на то, чтобы научиться жить дальше. Была помощь. Не без этого, – она сделала рукой неопределенный жест, направленный более или менее к небесам. – А потом я встретила человека, который был мне предназначен. Он был композитор, русский аристократ из семьи, бежавшей в революцию во Францию и после войны вернувшейся. Он был старше

меня на пятнадцать лет. И, как ни странно, он никогда не был женат, хотя биография его была очень богатой по части женщин. Отец его до революции был товарищем министра, а одно время членом Госдумы... В некотором смысле полная противоположность моим англо-голландским коммунистическим предкам. И тем не менее отец его Василий Илларионович – фамилии не назову, слишком громкая в России фамилия, – был поразительно похож на моего отца и внешне, и внутренне... Коммунистов семья сильно не любила. Но меня они приняли, несмотря на мой коммунистический хвост. С другой стороны, им деваться-то было некуда: мы с Гошей влюбились друг в друга до беспамятства, сразу упали друг другу в объятия, а наутро он отвел меня в ЗАГС, считая, что дело решенное, и бесповоротно. И началась моя вторая жизнь, в которой ничего не было от прошлой, кроме моей мамы, которая, надо отдать ей должное, просто ничего не заметила. Не думай только, что это было после ее инсульта. До! Она действительно ничего не заметила, время от времени называла моего второго мужа именем первого, а мы с Гошей только смеялись... Он образование получал во Франции и в Англии, вернулись они в Россию в пятидесятых, пожилы в ссылке... Ну, сама понимаешь, обыкновенная такая история. Мы познакомились в тот год, когда их семью прописали наконец в Москве и дали двухкомнатную квартиру в Бескудниково – как потомкам декабристов. Взамен дачи под Алуштой и дома на Мойке...

Смутная, недопроявленная мысль о том, по какому же таинственному закону так укладываются друг к другу редкие, особо задуманные люди, вроде дочери русского шпиона английского происхождения и потомка декабристов, родившегося в изгнании в Париже, пришла Жене в голову, и она даже хотела Айрин об этом сказать, но постеснялась прервать ее медлительный и почти медитативный рассказ...

– Я сразу же забеременела, – Айрин улыбнулась не Жене, а в отдаленное пространство. – Георгий не знал, что к этому времени я уже потеряла двух детей. Я скрыла про детей... не хотела, чтобы он меня жалел... Это была самая счастливая беременность на свете. Живот рос со страшной силой, а Гоша ночами лежал на моем животе и слушал.

«Что ты слушаешь?» – спрашивала я.

«О чем они говорят», – он был уверен, что родится двойня.

Под конец и врачи установили, что два сердцебиения прослушиваются. И я родила двух прекрасных мальчиков, один рыжий, другой – черноволосый. Оба по три с лишним килограмма. Хочешь верь, хочешь не верь: с первого часа они друг друга невзлюбили, да так, что и родителей поделили – рыжий Александр выбрал меня, черненький Яков – Гошу. Было страшно тяжело. Когда один засыпал, другой кричал. Когда я кормила одного, другой надрывался от воплей, хотя был уже покормлен. Потом они научились кусаться, плевать, драться... Один вставал на ноги, другой его немед-

ленно валил. Их на минуту нельзя было оставить вдвоем. Но стоило их разлучить, как они начинали рваться друг к другу. Увидевши, кидались навстречу – целовались и тут же начинали драку. Какие-то особые, обостренные отношения были у моих двойняшек. Я говорила с детьми по-английски, Гоша – по-французски. Они, когда начали говорить, и языки поделили: Александр заговорил по-английски, Яшка – по-французски. Ну, это естественно. Между собой они говорили по-русски. Но не думай, что их этому специально учили. Они все выбирали себе сами, и заставить, принудить их к чему-то было невозможно. Мы с Гошей, наблюдая за ними, ловили кайф: это было наше наследство – эти паршивые гены своевольия и упрямства.

Жили мы круглый год в Пушкино, снимали там зимнюю дачу, перевезли с собой и гренни Сузи. Она тогда была еще в относительном порядке. То есть романы еще читала... Ни проку, ни помощи, как ты понимаешь, от нее никогда никакой... Гошу взяли, наконец, преподавать в музыкальное училище. Класс композиции. Он был супер-овер-квалифайд для этой работы. Ему бы в консерваторию... Но западная его выучка всех отпугивала. Иногда для кино музыку писал. В основном же зарабатывал он переводами, я по-прежнему печатала, хотя он страшно негодовал, когда я брала работу. Была у него паршивая машина, «москвич», на которой он гонял в Москву, а вернувшись, каждый раз чинил... Это была умная машинка – всегда ломалась возле дома. Мы были страшно

счастливы – и валились с ног от усталости.

Весной, когда начинается цветение, я всегда болею. Аллергия. В ту весну цветение было особенно сильным, и я все время пыхтела, задыхалась. Пока шли дожди, я кое-как, с таблетками, справлялась. А потом наступила жара, и на второй жаркий день у меня началось настоящее удушье. Отек Квинке называется. Ближайший телефон был на почте, пушкинская скорая в те времена была такая же редкая птица, как страус. И Гошка разбудил среди ночи мальчишек, наспех одел, погрузил их на заднее сиденье – мы боялись оставлять на Сузи, она с ними не справлялась. Разбуженные среди ночи, они были на редкость смирными и даже не дрались, а уселись на заднем сиденье в обнимку. Потом Гоша вытащил меня, посадил на переднее сиденье и повез в местную больницу. И гнал изо всех сил, потому что я еле свистела и цветом была как вареная свекла...

Айрин закрыла глаза, но не совсем плотно, маленькая светлая полоска, как из-под двери, пробивалась. Жене показалось, что Айрин потеряла сознание. Женя вскочила, потрясла ее за плечи. Та как будто очнулась. Засмеялась своим особенным, певческим смехом.

– Вот и все, Женя. Я тебе все и рассказала. Отек был такой сильный, что я уже ничего не видела, не чувствовала. Вылетевшего на нас самосвала я не видела и не почувствовала самого удара. Выжила я из всех одна. Когда меня положили на операционный стол, никакого отека Квинке у меня

не было – он прошел в момент столкновения. Совершенно неправдоподобно... Но я осталась жива...

Айрин откинула с правой стороны головы волосы – глубокий гладкий шов начинался за ухом и шел вдоль черепа. Женя зачем-то провела по нему пальцем.

– Он совершенно нечувствителен, этот шов. Я – медицинский феномен. У меня чувствительность почти нулевая. Скажем, порежу палец – не замечаю. Только когда увижу, что кровь течет. Это опасно. Но и удобно отчасти.

Айрин протянула руку к лежавшей на стуле сумке, достала из нее длинную коробочку размером в три спичечных, вынула из нее большую иглу и вогнала в белейшую кожу у основания большого пальца. Игла мягко углубилась в тело. Женя вскрикнула. Айрин засмеялась.

– Вот что со мной произошло. Я потеряла чувствительность. Когда мне сказали, спустя три недели после катастрофы, что у меня нет ни мужа, ни детей, это было вот так. – Айрин вытащила иглу, и появилась небольшая капля крови. Айрин ее слизнула. – И вкус у меня почти потерян. Различаю соленое от сладкого, но не более того. Иногда мне кажется, что это только воспоминание от вкуса, с тех времен, когда я еще все чувствовала...

Айрин разлила остатки и встала, шумно отодвинув кресло. Жилье у нее было самое удобное в Дориной усадьбе: кроме террасы была еще и отдельная кухонька в сенях. Там у Айрин был припрятан небольшой винный запас: шесть бу-

тылок, купленные к завтрашнему приезду подруг. Она долго шарила там в темноте, потом принесла бутылку хереса.

Все слезы из Жени вытекли еще вчера – новых за последние сутки как-то не образовалось. В горле стояла сухость, щипало и першило в носу.

– Английская ведьма Анна Корк оказалась права: Доналд – мой пятый ребенок. Как она и предсказала: с пятого начинаешь...

Сначала тьма разбавилась, потом сделалось серо, запели птицы. Когда история закончилась, совсем уже рассвело.

– Может, кофе сварить? – спросила Айрин.

– Нет, спасибо. Я посплю немного. – Женя ушла в свою каморку и легла лицом в подушку. Прежде чем уснула, успела еще подумать: «Как глупо я живу, можно сказать, что и не живу вообще. Подумаешь, ну разлюбила одного, полюбила другого... Тоже мне, драма жизни... Бедная Айрин – четверых детей потерять...» И она особенно горячо жалела Диану, синеглазую длинноногую Диану, которой сейчас было бы шестнадцать лет...

Ближе к вечеру приехала из Москвы целая команда: Вера со своим вторым мужем Валентином, который до того был женат первым браком на Нине, Нина и старший Нинкин сын – от Валентина. Кроме того, две младшие дочки Нины, уже от второго брака. С Верой было двое детей – младший сын был от Валентина, а дочка – неизвестно от кого, то есть рождена от незнакомого всем остальным первого ее мужа. В об-

щем, это была дружная современная семья.

Сексуальная революция уже шла к закату, и вторые браки оказывались крепче первых, а третьи – совсем похожи на настоящие...

Дворик Доры Суреновны наполнился разновозрастными детьми, и смежные соседки посматривали через ограду справа и слева и завидовали Доре, как это ей удастся начать сезон на месяц всех раньше, а закончить – на два месяца позже... И происходило это уже много лет. Они не догадывались, что все дело было в Айрин: куда ехала она, там вокруг нее тотчас образовывалась толпа, колхоз и фейерверк, а также первомайская демонстрация бюстгальтеров с вываливающимися молочными железами и бикини с пупками и ягодницами, возбуждающими крымских соседей до такой степени, что они хотели бы всем этим бесстыжим блядям отказать в квартирах, но жадность не позволяла.

Сама Дора устраивала некое подобие пансиона, не «бед-энд-брекфаст», а «койка-с-обедом», вот какова была услуга. Муж Дорин работал шофером в санатории имени XVII партсъезда, водил автобус, ездил за отдыхающими в Симферополь, добывал и продукты. Дора кормила всех своих постояльцев и зарабатывала за сезон столько, что и от участкового, и от фининспектора откупалась без особого для себя разорения.

Первые три дня прошли в благоустройстве. Нина, мать троих детей, была страшно домовита и распространяла во-

круг себя домашний уют и женскую организацию жизни. Когда все занавесочки были развешаны, вазочки расставлены, половички вытрясены, она составила расписание, согласно которому каждый день две мамы при детях, а две, закупив с утра продукты, в оставшееся время отдыхают...

Утром четвертого дня, согласно новому расписанию жизни, отдыхали Женя с Верой. План был у них следующий: они провожали до автобусной станции Валентина, который, выполнив функцию по доставке обеих семей, возвращался в Москву, потом покупали молоко, если повезет, а потом они собирались погулять по голой природе, без мячей, детей, визга и воплей... И все шло по плану: проводили мужа, не купили молока по причине его незавоза и отправились по шоссе в сторону холмов, откуда пахло юной травой, сладкой землей и где стояли розово-лиловые облака тамарисков в полном цвету.

Они уже свернули с шоссе, и, хотя шли по тропе вверх, идти было легко и вольно. Они даже и не особенно между собой разговаривали – так, перебрасывались необязательными словами...

Потом дошли до семейства акаций, сели в жидкую тень маломощной листвы и закурили.

– Ты давно Айрин знаешь? – спросила Женя, которая, хоть прошло уже немало дней, все никак не могла оторваться от крупной судьбы рыжей англичанки, перед которой старомодное самоубийство Анны Карениной поблекло и стало

вроде как бы причудой вздорной барыни: любит, не любит, плюнет, поцелует...

– В одном дворе выросли. Она была старше на класс. Мне с ней дружить не разрешали. Она была хулиганка у нас, – засмеялась Вера. – А меня к ней тянуло. Да к ней всех тянуло. У них в квартирке полдвора всегда торчало. И Сюзен Яковлевна до инсульта была прелесть какая тетка. Мы ее Барбариска звали – она вечно всех детей карамелью угощала...

– Кошмарная судьба какая... – вздохнула Женя.

– Ты про ее отца? Шпионство, что ли? Что ты имеешь в виду? – слегка удивилась Вера.

– Да нет, я про детей.

– Про каких детей, Женя? – еще более удивилась Вера.

– Диана и эти близнецы...

– Какая Диана? Ты про что?

– Про детей Айрин... Которых она потеряла, – предчувствуя ужасное, объяснила Женя.

– Ну-ка, поподробнее. Каких это детей она потеряла? – вскинула бровь Вера.

– Дэвид, первый ее ребенок, умер при родах, от обвития пуповины, потом Диана, ей годик был, и несколько лет спустя в автокатастрофе погиб ее муж-композитор и близнецы Александр и Яков... – перечислила Женя.

– ...Твою мать... – потрясенно сказала Вера, – и когда же это с ней все случилось?

– Ты что, не знала? – изумилась Женя. – Дэвида она ро-

дила в восемнадцать лет, Диану в девятнадцать, а близнецов года три, что ли, спустя...

Вера погасила старую сигарету и раскурила новую – сырая сигарета плохо разгоралась, и, пока Вера над ней пыхтела, Женя судорожно трясла новую пачку, из которой ничего не вытряхивалось.

Вера молчала, тянула в себя горький дым, а потом произнесла:

– Слушай, Жень, я должна тебя огорчить. Или обрадовать. Дело в том, что дом наш в Печатниковом расселили десять лет тому назад, а именно в шестьдесят восьмом году, и было тогда Айрин двадцать пять лет. И к тому времени у нее на счету была армия любовников, десятков, наверное, аборт, и никаких детей – клянусь! – у нее в помине не было. Как и мужей. Донька – ее первый ребенок, а замуж она никогда и не выходила, хотя любовники у нее были очень знаменитые, даже с Высоцким был у нее роман...

– А Диана? – тупо спросила Женя. – А Диана?

Вера пожала плечами:

– Мы в одном подъезде все годы жили. Ты что думаешь, я бы не заметила, что ли?

– А шрам на голове от автомобильной катастрофы? – Женя трясла Веру за плечи, а та вяло уворачивалась.

– Ну что шрам, что шрам? С катка шрам. У Котика Кротова были «ножи», ну коньки такие, беговые, она упала, а он ей «ножом» прямо по голове проехал. Кровищи было... Он

и правда чуть ее не убил. Ей голову зашивали...

Сначала Женя заплакала. Потом начала хохотать как безумная. Потом снова принялась рыдать. Потом они закурили обе пачки сигарет, которые были с собой. Наконец Женя опомнилась – никогда еще она с Сашкой не расставалась на столь долгий срок... Они заторопились домой. Женя пересказала Вере всю историю Айрин – сочиненную. Вера рассказала ей встречную – подлинную. Совпадали обе истории в самом неправдоподобном месте – по части резидентского прошлого ирландско-британского коммуниста, приговоренного к смертной казни и обменянного на отечественного шпиона...

Когда они пришли к дому, Женя чувствовала себя выпотрошенной. Дети уже поужинали и чинно играли за большим столом в детское лото, где вместо цифр были репки, морковки и варезки. Сашка, вцепившись в лотошную карточку, махнул матери рукой, сказал: «Ура! Мой заяц!» – и накрыл своего зайца картинкой. Он был равный среди равных, а во все не отсталый, больной или особо нервный...

Остальные сидели у Айрин на террасе и пили херес. Сузи с блаженным лицом тянула маленькими глотками из стакана. Вера поднялась на терраску и уселась с остальными...

Женя ушла к себе. Ее звали с террасы, но она крикнула из комнаты, что болит голова. Легла на кровать. Голова как раз и не болела. Но надо было что-то сделать с собой. Произвести какую-то операцию, после которой можно было бы снова

пить вино, болтать с приятельницами, общаться с другими, более образованными и умными подругами, оставшимися в Москве...

Дети закончили с лото. Женя вымыла Сашке ноги, уложила, погасила свет. Кто-то из подруг позвал ее усиленным до крика шепотом:

– Женя! Иди пирог есть!

– Сашка еще не заснул. Я попозже, – таким же театральным голосом ответила Женя.

Она лежала в темноте и исследовала свою душевную рану. Рана была двойная. Одна – от потраченной зазря сострадания к несуществующим, гениально выдуманым и бесчеловечно убитым детям, особенно к Диане. Болело вроде ампутированной ноги – несуществующее. Фантомная боль. Хуже того – никогда и не существовавшее. И вторая – обида за себя самое, глупого кролика, над которым совершили бессмысленный опыт. Или смысл какой-то был, но недоступный пониманию...

Снова кто-то тихо постучал в окно. Ее звали. Но Женя не откликнулась – невозможно было представить себе выражения лица Айрин, которая сразу же догадалась бы, что разоблачена... И ее голоса... И своего собственного стыда перед стыдом этого стыда... Женя пролежала, не засыпая, до того часа, пока не погас свет на террасе. Тогда она встала, зажгла маленькую лампочку на стене и покидала в чемодан все вперемишку – чистое, грязное, игрушки, книжки. Только Саш-

кины резиновые сапоги сообразила завернуть в грязное полотенце.

Ранним утром Женя с Сашкой вышли из дому с чемоданом. Они пошли к автобусной станции, и Женя не знала, куда они дальше двинутся. Может, в Москву. Но там, на станции, стоял один-единственный старый, чуть ли не довоенный автобус, на котором было написано «Новый Свет», и они сели в него и через два часа были совсем в другом месте.

Сняли комнату возле моря и прожили там еще три недели. Сашенька вел себя идеально: никаких истерических припадков, которые так беспокоили и Женю, и врачей. Он ходил босиком вдоль воды, забегая на мелководье и топая по воде голыми пятками. И ел, и спал. Похоже, он тоже перешел какой-то рубеж очередного созревания. Как и Женя.

В Новом Свете было чудо как хорошо. Еще цвели глицинии, и горы были совсем рядом, прямо за домом дыбился каменистый склон, по которому можно было за два часа добраться до аккуратно-округлой, по-японски устроенной вершины и смотреть оттуда на неглубокую бухту, на морские камни с древнегреческими именами, торчащие из воды от самого сотворения мира.

Но иногда вдруг прихватывало сердце: Айрин! Зачем она их всех убила? Особенно Диану...

# Брат Юрочка

С вечера поднялся низовой ветерок, он задирает бабам юбки и холодит ноги, а к утру пошел дождь. Молочница Тарасовна принесла трехлитровую банку утренней дойки молока и сказала Жене, что дождь теперь зарядил на сорок дней, потому что нынче Самсон. Женя не поверила, но расстроилась: а вдруг правда? Она с самого начала лета сидела в деревне с четырьмя – двумя своими, Сашкой и Гришкой, и двумя подоброщенными, дружески-родственными, крестником Петькой и сыном подруги Тимошей. Четыре мальчика от восьми до двенадцати, небольшой отряд. С мальчиками Женя умела управляться, их природа была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки.

За неделю до дождя, который и действительно оказался затяжным – сорок, не сорок, пока неизвестно, но затянуло все небо и капало без перерыва, – дачная хозяйка привезла свою десятилетнюю дочку Надьку, которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел...

Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской. Но скорее всего, южно-русской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошел такой благородный отпрыск. Одно только было общим у матери и дочери – мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят: глад-

кая...

Пока погода была еще хорошей, Надино присутствие никак не изменило отлаженной жизни. На опушке Нефедовского леса у мальчишек шло строительство третьего шалаша, они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из Сетона-Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась было, не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место:

– Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил. Но ему-то четырнадцать...

Хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась – дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малофеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных, и взрослых, и детей, уходила с утра в обход, по домам, приходила к обеду, не опаздывая, потом, даже без Жениных указаний, перемывала всю грязную посуду, на удивление споро и чисто, и снова уходила, теперь уже до ужина, по соседям.

На третий день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька все же интересуется мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными за целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась, только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя – навестить своего университетского приятеля.

ля-чудака, который уже лет десять жил в глубине Нефедовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть. Он всему вел учет и счет, описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы, они присматривали кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями – у каждого был особый интерес, все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитать и размышлять о своей неудачливой личной жизни.

Но ничего такого не произошло – Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлеклись, а развлекались по-деревенски: плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельминтами, обитающими в нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей...

По дороге на биостанцию Надя трещала не переставая, но Женя не особенно вслушивалась, что она там рассказывала мальчишкам. Лес девочке был знаком, она заставила всех свернуть с дороги метров на тридцать, показала старый блиндаж, с военных лет не совсем еще растворившийся в

подлеске... Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами два месяца, и еще много было тому живых свидетелей.

– А тетя Катя Труфанова от немца даже родила, – сообщила Надя и совсем было уж собралась рассказать всей деревне известные подробности, но Женя увела разговор в направлении, тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом, – указала на старую березу, облепленную древесным грибом, велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность, поняла, что разговор Женя прервала неспроста, и, пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб, настойчивым шепотом досказала-таки Жене историю про тетю Катю, стоявшего на квартире фрица и Костю Труфанова, родившегося от этого посто...

Женя слушала и дивилась, до чего же мальчики отличаются от девочек. Семья у Жени была с сильным мужским преобладанием, у мамы были братья, у нее самой – младший брат, и в последнем поколении тоже все прибывали мальчики, а девочки ни у кого не рождались... И, Бога ради, не надо... Была бы эта сладострастная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы сейчас Женя ей отвесила...

– ...и он, как в армии отслужил, больше домой не вернулся. Тетя Катя говорит, и правильно сделал. Здесь дразнили

его «фрицем» всю дорогу, а он хороший был и умней всех наших деревенских... А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что зачем сильному и умному других дразнить? Правда ведь? Кто дразнится, сам хуже всех...

Глаза Надькины при этом блестели темным и умным блеском, и неподдельное сочувствие было в голосе и в углах губ, и руками она на ходу поводила жестом не деревенским, а каким-то горделиво-испанским, и раздражение Женькино улеглось, она засмеялась:

– Ну конечно, кто дразнится, тот хуже всех...

Прелесть все-таки была девочка и ловко так шла по разбитой дороге, легко прыгая с одной стороны колеи на другую, слегка скользя сбитыми, но очень породистыми недетскими туфельками. Совсем еще дитя, даже перевязки на ручках младенческие, круглая телом, как целлулоидный пупс, а скачет балериной.

– Я еще святой источник показать могу, но это часа два за Киряково идти, – предложила Надя, и поперечная морщинка образовалась на переносице от глубокой мысли: что бы еще такое показать дачникам? И вспомнила:

– А на той стороне, через железную дорогу и через просеку, там скит был, мне показывали... И медвежья зимовка, здесь медведей... – И она правдиво осеклась: —...раньше здесь много медведей водилось... Я не видела, а Юра, брат мой, он видел. Но давно...

А потом Надя подметалась к мальчикам, и Женя все вре-

мя слышала ее звонкий голос с забавной интонацией открытия, восторга и женского превосходства. Вслушавшись, Женя поняла, что разговора никакого между ними нет: Надя рассказывает что в голову взбредет, а мальчишки как будто о своем, что хорошо бы на базе крючков одолжить и разузнать бы, где здешние зоологи рыбу удят... Но нет-нет и проскакивал в Надину сторону невзначай то Сашкин, то Тимошин вопрос:

– Надь, а где?

– Надь, а кто сказал?

И Женя догадалась, что в малолетней компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее собственной жизни, – кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелует...

Недели не прошло – Женя обнаружила, что верховодит уже не старший и разумный Сашка, а смешливая болтушка Надя. Это открытие совпало с предсказанным дождем. Теперь на улицу вылезать не хотелось, промокший в лесу недостроенный шалаш утратил привлекательность, и дети засели дома, надеясь переждать дождь. С утра затеяли топку большой печи, которой до сих пор не пользовались – обходились маленькой плитой в кухне и газовым баллоном, когда электричества не подавали. Оказалось, что Надя умеет растапливать большую печь, с которой самой Жене в начале дачного сезона справиться не удалось. Но Надя прочистила какую-то трубу, то открывала, то прикрывала выюшку, создавая тягу,

которой все не было. Наконец после нескольких попыток маленький берестяной костерок, который она сложила по всем правилам деревенского искусства, загорелся, от него занялась избушка из щепы, сложенная вокруг бересты, и так далее, до самого большого толстого полена, сидевшего в самом горле печи... Потом произошел длинный обед с киселем и печеньем на третье, по завершении которого Надька собрала посуду, отнесла ее в летнюю кухню и сказала Жене:

– Давай оставим, а? Я потом после ужина все разом вымою...

Женя согласилась – у нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетие мысль и взяла в руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную... Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях – и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя: шорох капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшей перемене ветра, и чмоканье капель о поверхность темной воды в бочке, и отдельный звон струи, стекающей по водостоку. И самый опасный звук – сначала звонкие, а потом глухие удары

капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.